

МЕСТО НА ФОТОГРАФИИ

Где оно теперь, коричневое папино пальто? Истлевает, сливаясь постепенно с землей, как незарытое животное? То самое пальто, которое сотворилось так торжественно и постепенно на протяжении многих лет – детских, тянущихся невыносимо медленно от елки до елки, от парада до парада, с редкими вкраплениями именин, поездок на пляж и эпохальных покупок.

Бедные пятидесятые! Старенькая фанерная мебель в волдырях и трещинах, прикрытых ажурными крахмальными салфетками. Разложенные, развешенные симметрично и ярусами по всему дому, они парили, как райские облака, и на них восседали небожители – фарфоровые, стеклянные, целлулоидные, обязательные для каждого жилища: девочка с голубем, танцующая узбечка, пионер с книгой... Эти безделки отличались друг от друга лишь оттенками красок и выражением лиц. Следствие небрежности кисти... У всех моих подруг, например, были небольшие целлулоидные пупсы с челочкой, и почему-то даже звали их одинаково – Катя. Но моя Катя была покрепче других, посмуглее и смотрела радостно-туповато, Лоркина Катя была хрупкая и злая, а Леночкина – косая и вовсе без выражения лица.

Но при чем тут куклы... Впрочем – тоже судьба: все они кончили на мусорнике, предварительно полежав – в тщетном ожидании починки – на дне чемодана, заменявшего в те годы чулан и чердак. У одной отвалилась голова, у другой – ноги... И у всех вдавились носы... Их ручки с рассудительно вытянутым пальчиком грозили из мусорных куч: "Memento mori! Не спускайся с заоблачной полки, не становись будничной тарелкой, затрапезным платьем, одежкой на каждый день!"

А оно и не становилось, папино пальто. Отчасти по причине своей тяжести.

Помню, как внесли прямо из ночи свернутый бревном отрез коричневого сукна. Дернули шпагат, зашелестели бумагой и раскатали по дивану тяжелую и мягкую на ощупь ткань, будто осеннюю землю под низким оранжевым солнцем абажура.

Я была еще так мала, что абажур казался мне больше солнца. Во всяком случае, важнее. А мамины цветастые платья, подцепленные проволочными вопросиками вешалок к распахнутой оконной раме, заставляли дурацкое сердечко захлебываться и обмирать, как при виде водопада. Лицо морщилось от брызг и грохота...

Два раза в году потертый бегемот, щелкнув никелированными замками, раззевал оклеенную газетой пасть, и оттуда извлекали седую чернобурку, шубу, осыпанную снегами нафталина, два отреза маркизета, легких, цветастых – и этот, неподъемный, коричневый. Озабоченно шарили руками по его холмам и равнинам, испуганно катали между пальцами белую пушинку... Он не оправдывал моих надежд. Чего я ждала? Что сквозь него пробьются травинки? прорастут ландыши?

Так вот: может, уже и проросли... В какой-нибудь привокзальной рощице, где пальто бросил несчастный беспечный Лёнечка, мой двоюродный брат, собиравший деньги на золотой перстень... Какая судьба! У вещей, как и у людей – такие бывают судьбы, что впору романы писать. Игриво развевающийся шарфик великой балерины... Или никому не известное ситцевое платье: ему бы послужить два сезона – и в тряпки, а оно оказывается причиной гибели славного беспородного щенка, а в конечном счете и его совсем юной хозяйки...

Вот и папино пальто – не оно ли ускорило печальный конец моего бедного брата? Не оно ли соблазнило какого-нибудь бестолкового бомжа приманить это седеющее дитя и потащить куда-то за собой? Но почему он просто не раздел его и не удрал? Вряд ли брат бросился бы

за ним вдогонку: недолголюбивал он это пальто из-за его непомерного, социалистически-боярского веса. Потому оно и не залоснилось, не затрепалось, как любая вещь, которой мой брат пользовался больше трех раз подряд.

Он надел пальто по случаю особо сильного мороза, отправляясь на базар сопровождать Фриду Аркадьевну, которая всё и всегда делала не ко времени. Базар был плохой. Они ходили вдоль пустых оледенелых прилавков, выглядывая издали черные фигурки бесчувственных от мороза крестьян, не оживавших и при виде допотопной Фридиной шляпки со вздорным фетровым бантом, будто выпихнутым на авансцену из-под пухового платка. И даже кое-как размазанный румянец, даже криво намалеванные на лысых морщинистых буграх полосы Фридиных бровей не выводили их из немого бдения над ведром замерзшей капусты или горкой семечек в спущенном мешке. Где уж там было им заметить какого-то вихлявого бомжа, делающего знаки видному мужчине в директорском пальто! Ну, повернулся. Ну, отошли за рундук. Фрида же спохватилась лишь тогда, когда выторговала невесть для чего здоровенный корень хрена и потянулась сунуть его в кошелку. Но кошелки уже не было. Не было и буханки серого хлеба, купленного по дороге, не было и коричневого пальто, и бедного моего брата.

Фрида не испугалась. Окинула слезящимся взглядом площадь, витрины, подождала у входа в мужской туалет, а в конце концов даже заглянула туда. И наконец побрела домой, качаясь от налетающей толчками метели, с хреном наперевес... Она предполагала, что Лёничка уже дома, и радовалась за него, и привычно гордилась его недооцененной сообразительностью.

Этот город, этот город... Неотличимый от сотен других городков, он так часто снился мне, что утратил свои реальные черты большой деревни с двухэтажной, правда, площадью и колоннадой Дома офицеров – храмом и святыней моего брата... Снятся всё какие-то пассажи, улицы с застекленным небом, элегантные трамваи, огромные часы над железнодорожными кассами, где продаются билеты прочь... а дом моей тетки, наоборот, оказывается почему-то похожим на хижину, затерянную в одичавшей зелени. Пустой, пыльный, со сползшими на пол картинами... дом умерших хозяев.

Впрочем, почти таким он был и в реальности. Сразу чувствовалось, что хозяев нет в живых. И Лёничка, гордо считавший себя хозяином дома, все же предпочитал жить в вонючем, заваленном кучами грязного белья логове Фриды Аркадьевны – даже тогда, когда Катя, его старшая сестра, приезжала в Слауту на две недели, чтобы не дать дому рухнуть, а Фридиному грязному белью не дать пойти по второму кругу... Он заходил в свой дом только днем: строго следил за тем, чтобы сестра не взяла себе на память какую-нибудь мелочь из рассыпающегося родительского гнезда, где ей было так страшно ночевать одной, где не стали селиться даже мыши.

Зато какое раздолье мышам было в хибарке Фриды! Там было тепло и сытно, там вечно пахло кипящим на огне жарким, свежим борщом, скисшим борщом, замшелой гречневой кашей, одеколоном, пудрой, трехмесячным потом постели, жареной картошкой, скисшей жареной картошкой, гниющей в помоях жареной картошкой...

Фрида целыми днями готовила: всё боялась, что придут гости и застанут ее врасплох. Поэтому, возвращаясь домой, она спешила поставить на огонь кастрюлю с водой, а потом уже снимала пальто. Вчерашнюю еду она никогда не употребляла, а сваренное утром иногда принимала за вчерашнее. Правда, утреннее часто сгорало, ибо, высыпав пакет крупы в кипяток, Фрида могла отправиться в уборную, затем, естественно, шла мыть руки и лицо, что влекло за собой немедленное наведение красоты.

Судя по фотографиям, Фрида была в молодости прехорошенькой. Живых свидетелей тому не имелось, но это было как бы городское предание. Ее вообще по-своему ценили: улицами, домами, своим укладом город был похож на любое большое село, и лишь Фрида с ее шляпами кружевными и шляпками фетровыми, с произвольно проложенными черными полосками бровей была явлением исключительно городским и свидетельствовала о давних городских традициях. А так – всё было село да и село: пуховые сугробы, приваленные к заборам, и подушки, подушки снега на крышах, кружева садов в ночном инее...

Было еще утро, когда Фрида ковыляла по выбитой среди улицы снежной траншее, с бледным хреном в озябшей руке, с остатками малиновой помады на задернутых в плотную сборочку губах. Раскачивалась от стенки к стенке и радовалась, что брат мой уже дома, в тепле, и все восхищалась неожиданной правильностью его решения: взял да и ушел домой. И уверенность ее была так сильна, что, только поставив на огонь кастрюлю, она обнаружила, что нет его дома, моего брата, а папино пальто не висит на своем гвозде.

Испугалась она только к вечеру. В милицию же обратилась и вовсе на другой день. Тогда же позвонила в Москву Кате, а затем и нам, в Киев.

Она плакала, говорила, что боится спать одна, что ее деревенские приятели из-за сильных морозов не ездят на базар, что с продуктами совсем плохо, что хлеб опять подорожал, и та буханка, которую унес с собой бедный мальчик, стоила пятьсот купонов, а сегодня она взяла такую же за восемьсот, что соседи говорят, будто появились банды, которые заманивают людей, убивают их, а трупы разделяют и продают как свинину...

Все это ни нам, ни Кате не показалось смешным. У Фриды и ее покойного мужа – Мирон Сергеича – была собственная теория относительно здоровья моего бедного брата. Эта теория прямо противоречила предписаниям врачей: ограничивать больного в пище.

Бедные мои дядя и тетя! Каких трудов им это стоило! Ограничивать Лёначку... И когда! Когда после стольких лет безденежья они внезапно разбогатели: к двум учительским зарплатам прибавились две пенсии, плюс неожиданное наследство, плюс нерегулярная помощь крепко ставших на ноги старших детей – Кати и Яши. Помощь ненужная, но приятная и возмещаемая регулярными посылками, провинциально-продуктовыми. На старости моя тетя научилась печь, варить варенье и консервировать плоды собственного сада и огорода. Для Кати, супруги молодого профессора и лауреата различных премий, для Яши, женатого на дочери крупного подпольщика-коммерсанта, посылки из дому имели значение чисто ритуальное. Да и вообще в отношениях между родителями и старшими детьми, неосознанное, преобладало ритуальное начало. Не то что с несчастным братом моим, с Лёначкой, надрывно любимым крестом и позором всей семьи.

И его-то, вечно озабоченного запахами кухни, способного легко уместить во рту целый ломоть хлеба, одним разом вытянуть банку компота, приходилось ловить, ругать, запирать от него кладовки и буфет – и с болью наблюдать, как он снует, воровато и непристойно глотая, посмеиваясь, выжидая. Чуть зазеваешься – и он уже давится непрожеванным коржиком, а другой хрустит в кулаке... И так противно, так больно... Смотреть на это, стоять навтыжку перед врачами, слушать их безжалостные упреки... "Что же вы делаете! Он же у вас стал похож на кабана! На нем же сала килограммов сорок!"

Тетя обижалась. Ничего такого она не видела. Она привыкла к тому, что мальчик у нее красивый. Была она слабохарактерна и после смерти дяди не так тщательно следила за дверцами буфета и кладовки. А иногда просто доставляла себе удовольствие, слушая упорный хруст песочного печенья, глядя, как пирожок со сливовым повидлом чувственно внедряется в малиновый джем и нахально возвращается, густо закапывая клеенку. Тетя выяснила опытным путем, что возможности моего бедного брата не безграничны, что в конце концов он откинется, отдуваясь, на стуле и с добродушным отращением будет

разглядывать смятый бисквит... поредевшие абрикосы в банке. Подолгу... Будто это аквариум с рыбками. Между делом он прислушивался к своему организму в ожидании нового прилива готовности.

Тетя говорила себе, что дни ее сочтены, несмотря на присылаемый из Москвы адельфан, гимнастику, бессолевую диету и помогающие от всех болезней апельсины; что Лёнечку несомненно ожидает полуголодное существование в интернате для душевнобольных. Она больше не пыталась найти ему какую-нибудь посильную работу и перестала поручать даже то немногое, что он раньше делал по хозяйству. Разве что иногда брала Лёнечку с собой на кладбище, где он приносил ей от колонки воду. Стоял, переминаясь... Смотрел, как тетя, тужко сопя, выпалывает в оградке сорную траву, вздыхал и повторял: "Как мне жалко, папа, что тебя больше нет!"

Тетя не угадала. После ее смерти Лёнечку в больницу не отвезли. Несколько месяцев он прожил с квартирантами, которых нашла Катя, а когда квартирантов выгнали, Мирон Сергеич, бывший завхоз школы, где дядя мой был директором, тетя – завучем, Катя – главной отличницей, Яша – главным артистом и спортсменом, а Лёнечка – главным... забрал его к себе. В свой домик, невероятно захламленный и запущенный за те два года, которые Мирон Сергеич прожил со своей "молодой женой".

Фрида Аркадьевна красилась в черный цвет, неумеренно пользовалась помадой и особенно румянами, носила кружевные шляпки и блузки с глубоким декольте. Пожилые ее дети стыдились матери, и она искренне привязалась к Лёнечке, ценившему Фридину парфюмерную красоту. Мирон Сергеич и Фрида Аркадьевна о больнице и слышать не хотели – особенно после того, как однажды поддались на увещевания участкового психиатра и отвезли Лёнечку в Тополевку. В первое же воскресенье они явились туда с передачей, и когда мой бедный брат, жалкий и осунувшийся, вышел к ним в линялых лохмотьях и стал проситься домой и обещать, что будет хорошо себя вести, старики расплакались, и уже в понедельник он был дома.

Участковая медсестра приходила делать ему уколы, Мирон Сергеич давал по часам таблетки. Но в медицину старики не верили. Фрида Аркадьевна лечила Лёнечку едой. Она пошла много дальше моей тети. Та слабовольно позволяла ему есть, сколько захочет, а Фрида Аркадьевна заставляла, караулила тот момент, когда он откинется от стола и с сожалением, с икотой уставится на остатки еды, как живописец на надоевший пейзаж. Тут она и начинала подкладывать ему добавку.

Бедный мой брат сопротивлялся. Унылые супы Фриды Аркадьевны с разваренными кусками мяса, обгаженными капустой и крупой, ее сухие каши с тем же мясом не возбуждали нового желания. Но Мирон Сергеич мягко и строго настаивал, а Фрида Аркадьевна делала вид, что плачет. "Не плачь! Не плачь, Фрида! – испуганно приказывал Лёнечка. – Я буду, буду кушать!" – и с бесчувственным усилием перемалывал следующую порцию, после чего, всегда неожиданная для бедного моего брата, появлялась коварная "закуска" – миска творога, посыпанного сахаром, как ночным снегом... пачка дешевых вафель... Похрустев всем этим, брат терял всякое выражение лица и неподвижно сидел часами. Ничего уже ему не хотелось – ни гулять, ни кататься на автобусе, ни даже петь. Говорливая Фрида, задавая ему вопросы, сама же на них и отвечала. А Мирон Сергеич хвастал в письмах к Кате, что уже пять, семь, девять лет им удастся избежать обострений. Периодически просил высылать чуть больше денег в связи с возмутительным ростом цен. Фрида Аркадьевна приписывала несколько слов о том, что Лёнечка прекрасно выглядит, что он красавец, а костюм, который Катя выслала весной, уже мал, и надо бы размера на два

больше. Что колбасы в Славуте по-прежнему нет, а Лёничка ее так любит. Ей же лично ничего не надо, разве что две бутылки лосьона "Свежесть". Катя приезжала в Славуту, навьюченная сверх всяких женских возможностей. С колбасой, апельсинами и конфетами, которые старики скармливали бедному моему брату за день – за два, демонстрируя Кате свое бескорыстие.

Расстроенная Катя звонила моей маме и говорила, что брат совсем утратил человеческий облик, что на его ляжки и зад страшно смотреть, что когда Мирон Сергееч ведет его в баню, за ними увязываются любопытные...

Вот почему никому из нас не было смешно, когда Фрида Аркадьевна, давясь крашеными слезами, толковала о бандах, убивающих людей на свинину. Тем более, что в прессе промелькнула-таки заметка о некоем вполне уважаемом гражданине, пойманном на таком оригинальном промысле. В милиции то ли не читали этой заметки, то ли не могли серьезно отнестись к чему бы то ни было, сказанному Фридой, которая не в состоянии была выйти из дому, не приведя себя "в порядок", но на этот раз, по причине искреннего горя, намазалась кое-как. И тут не помогало даже присутствие Кати, внушающей всяческое уважение. Всё это были люди приезжие, они не писали годовые диктанты под диктовку моего дяди, не курили за клубом "Беломор" с моим братом Яшей, не знали бедного Лёничку хорошеньким голубоглазым мальчиком. Не видели они, как маленький Лёничка роскошным жестом фокусника расстегивает ширинку и достает оттуда свой крошечный циркуль, и на дощатой стене сарая, так далеко, что будто и нет никакой связи между этой стеной и моим бедным братом, возникает пронзительно четкая дуга, разрастается по часовой стрелке, быстро замыкает круг и тут же против часовой стрелки выводит новый, такой же безукоризненно правильный – будто сами собой проявились на стене таинственные письмена. Не то карта полушарий без материков, не то упавшая восьмерка – символ бесконечности. Что-то и Лёничка мог такое, чего не мог больше никто! Но в милиции об этом, увы, не знали.

Дело-то они открыли, но явно желали и государству, и безутешным родственникам избавиться от обузы. Да и какими, собственно, сведениями они располагали? Толстый. Ну мало ли толстых? Допрос "свидетельницы" – Фриды Аркадьевны Бомштейн – вела, в сущности, Катя, это она вытянула из памяти старухи какого-то оборванца с длинной шеей, ниже кадыка – белой, выше – красной, морщинистой, как у индюка. И будто бы он подмигивал Лёничке... А теперь, несомненно, ходит в дорогом пальто с высоким воротником, скрывающим единственную его особую примету. Описание пальто внесли в дело. "Коричневое толстое сукно отечественного производства, три слоя ватина, коричневая подкладка шелковая, восемь коричневых пуговиц, больших, в два ряда, воротник широкий каракулевый, коричнево-золотистого цвета..."

Папино пальто! Выходное... Не вещь, а член семьи. Зревшее лет семь на шкафу в чемодане, как зародыш в пробирке, плотно укутанное, обложено нафталином, являющееся на свет только по большим праздникам: День проветривания и День просушки. Сначала в виде отреза сукна, широкого и бархатистого, как из окна поезда – осеннее поле на закате... и так отраднo, так страшно было бродить по нему двумя детскими пальчиками, прихрамывая на короткий указательный, от горизонта – до горизонта... искать в пещерах складок затерявшийся с лета цветок... и Лёничка, вечно подражавший мне, тоже гладил мягкую ткань ладошками, а потом бил по ней, барабанил в своем вечном маршевом ритме. Мама моя

опасливо поглядывала, но забрать ткань не решалась, чтобы не обидеть тетю. А когда гости уезжали, она снова доставала отрез и находила на нем какое-нибудь невидимое пятнышко.

В каждый свой приезд тетя интересовалась папиным пальто: куплена ли уже подкладка? набран ли ватин? найден ли подходящий воротник? Будто чувствовала, что шьется это пальто для Лёночки. И все сожалела, что цвет коричневый, а не синий, который больше подошел бы к синим папиным глазам.

Тетя гордилась папиной красотой. Она уверяла, что Лёночка – копия папы в детстве и в зрелом возрасте будет тоже – вылитый папа. О господи! Видела бы она Лёночку в зрелом возрасте... Впрочем, никогда она ничего не видела – вернее, видела нечто недоступное всем: вместо криво смятого лобика – просторный лоб моего папы, вместо мутных глазок – папины синие глаза. Бедная тетя Фаина! Если бы она дожила до того дня, когда мой брат по случаю сильного мороза надел нелюбимое, длинное и тесное ему коричневое пальто, то, несомненно, заплакала бы от умиления и сказала, что видит перед собой живого папу, что точно таким и был папа в соответствующем возрасте.

Ну разве это не странно? В сорок восемь лет папа сшил-таки коричневое пальто. В сорок восемь лет мой бедный брат надел его – и исчез. Повернулся и ушел от Фриды, торгующей на морозе палку ненужного хрена, скрылся за сугробами. Так же внезапно, как когда-то появился из-за сугробов мой папа в новом пальто, сшитом за тот месяц, который я провела в кардиологическом санатории.

Помню, как мы стояли в беседке для посетителей... редкие снежинки заносило к нам из лесу, из легкой дневной метели... я смахивала их рукавицей с папиного круто выщегося воротника, движением собственника разглаживала борта и твердую коричневую грудь, уголком глаза замечая девчонок, как бы случайно подтянувшихся к беседке, их восхищенные взгляды... изменяющуюся вдруг походку спешащих мимо медсестричек. Как я гордилась папой! Его глазами, его седеющими висками, его по тогдашней моде широким, как бы из гранита изваянным пальто!

Он доставал его лишь в особых случаях. И всегда это было похоже на открытие памятника – отчасти из-за белой простыни, хранящей пальто от моли и пыли. И вот оно-то – папино пальто! – на замарашке-жулике с его индюшачьей красно-белой шеей! Скорее всего уже потертое, со следами пива и засохшей блевотины поверх невидимых следов, оставленных мною и бедным моим братом... Скорее всего, уже без воротника, так что открылась теперь его шея, безразличная милиции. А может, оно и вовсе пошло по рукам и греет по очереди бомжей в каком-нибудь подвале, где от темноты и грязи перестают существовать цвета... Воняющее, как опустившаяся шляха. Папино пальто, о котором все говорили, что папа в нем похож на профессора... Которое в день папиных похорон вынужден был надеть из-за сильного мороза муж моей сестры. Помню, как мы с сестрой боялись взглянуть на него, а потом удивлялись, что это оказалось совсем не страшно. На нем, на двухметровом, пальто сидело каким-то особым образом, очень ловко. И было странное чувство... будто папа видит это и доволен, что оно пригосудилось.

Однако, посоветовавшись, мы с сестрой решили отдать его Кате для Лёночки – тем более, что она собиралась прямо от нас ехать в Славуту. Катя, единственная на похоронах родственница по папиной линии... Ибо к тому времени дядя мой давно уже упал с надкушенным бутербродом в руке, так и не узнав о том, что болен раком. Тетю прикончила-таки гипертония, которой она так жалко и комично сопротивлялась. И во всем этом, по семейному убеждению, виноват был эгоист Яша, укативший в Израиль вопреки воле родителей, чрезмерно дороживших своими партбилетами и карьерой зятя-лауреата. Даже

Лёнечку принесли в жертву этим святыням: Яша хотел забрать его с собой, рассказывал чудеса об израильских специнтернатах, где психически больные живут в идеальных условиях, где их приспособливают к посильной работе и создают даже некие подобия семей. А в Союзе Лёнечку ожидает больница, где людей содержат хуже, чем животных в зверинце, где к тому же каждый несчастный будет считать своим долгом поиздеваться над Лёнечкой. Уже из Израиля Яша писал своим друзьям, просил втолковать это родителям. Но партийные родители были непреклонны. Несмотря на рак и третьей степени гипертонию...

У Катиного мужа и в особенности у самой Кати в связи с отъездом Яши были большие неприятности. Их вызывали в различные инстанции, угрожали. На осторожный намек моей практичной мамы, что, дескать, семь бед – один ответ, Катя отреагировала неприлично резко: мол, хватит с нее одного брата за границей, мол, нет в анкете графы, где она могла бы объяснить, что представляет собой Лёнечка... Кривила душой. Лёнечкиного слабоумия она стыдилась больше, чем Яшиного "предательства Родины", больше, чем... И придумать нельзя! И ни в каком секретном отделе она не создалась бы в этом семейном позоре... Уж скорее бы признала себя японской шпионкой.

"Позоре"... Ну да, разумеется, слово неподходящее. Но когда горе комично... когда оно вызывает смех даже у самых близких – это все-таки немножко позор, тем более для такой самолюбивой, гордой девочки, как Катя. Катя, каждый день стиравшая свое единственное платье и пару ленточек, Катя, в течение лета решавшая все задачки из учебника не дававшейся ей математики, Катя, часами вдальблывавшая в круглую голову моего брата какое-нибудь стихотворение, Катя, у которой ни одна из многочисленных выходок бедного Лёнечки не вызвала даже тени улыбки...

Бедная Катя! Как она бежала за ним по городу с добела стиснутыми губами, с глазами, узкими от боли! По улицам, вдоль заборов, над которыми нависали зеленые яблоки и болтали ножками вишни, вдоль огородов с загорелыми бабами. Бабы выпрямлялись, подпирали рукой поясницу и, подобно подсолнухам, поворачивали смеющиеся лица, провожая моего брата, как солнце, до заката – до перекрестка, где другие бабы встречали его новым смехом, бедного моего брата-оленья... Никто не подумал броситься ему наперевес, никто не испугался, что он может покалечиться своими ветвистыми рогами, бодливо наставленными на догоняющую сестру. Рогами, торчащими из стиснутой трещинки голого, белого зада, такого же голого и круглого, как устремленная вперед голова... Мой бедный брат, олень-наоборот, петляющий восьмерками по хохочущему городу и придерживающий руками черные трусы!

Я тоже смеялась. И мама моя. И тетя! Даже дядя мой смеялся, и бил себя кулаками по вискам, и вытирал запястьями слезы. "Кто вас научил! Кто вас научил так делать?! – орала за проволочным забором соседка и мотала за локти сопливых Оську с Додькой. – Вы зачем ему ветку засунули?!" "Мы в доктола иглались! – ревел четырехлетний Додька. – Мы делали ему клизму-у-у..."

Бедный, бедный мой брат! Тогда ему было всего лет семь, и он вполне мог сойти за нормального мальчика. Тогда еще и чужие говорили, что он красивый: пухлые губки, синие глазки... Это уже специально присмотревшись, можно было заметить, что аккуратная круглая головка стоит как-то... слегка туповато, с обезьяньим наклоном.

Однажды красота Лёнечкина вызвала прямо-таки овации: женщины в автобусе обсуждали его глаза и темно-синюю школьную форму, только что привезенную Катей из Москвы, щелкали языками и повторяли: "Вот если бы все такими были!" Катя подавляла на своем лице судорогу сарказма и сильно сжимала ручку брата: боялась, как бы он не заговорил. Впрочем, и улыбки его хватило бы... Широкая, плоская, с недетски игривым намеком, перенатым, должно быть, у старшего брата, у шутника и острослова Яши. А, может, и

улыбка, и намек передались по наследству. Бродил себе такой ген – по линии моего дяди, наверное.

По линии тети и моего папы остряков припомнить не могли. От этой родни Лёначке досталась красота, именно тетю случайно миновавшая. То есть она не была дурнушкой, но сравнение с братьями ее губило. На первой странице семейного альбома тети красовалась очень качественная провинциальная фотография: тетя в беретике, с мечтательно прищуренными глазами и ниспадающими бровями – как солистка квинтета – в центре, а с двух сторон, по двое – ее красавцы-братья, очень похожие друг на друга и вместе с тем волнующе разные. Они не шурились, подобно тете, вдаль, наоборот – откровенно смотрели в объектив, и о каждом из этих вдумчивых и отуманенных взглядов можно было бы написать стихотворение. Папа мой, единственный из них, вернувшийся с фронта, был живым доказательством того, что красота эта не являлась следствием особенного освещения или, упаси Боже, ретуши.

И к этой-то фотографии тетя прикладывала крошечный, с белым уголком снимок Лёначки. Поверх своего лица – в центре... Боже-боже! Как слепа бывает материнская любовь! Сходство-то было... Но было и еще нечто...

Это "нечто" становилось еще более пугающим, когда тетя проделывала второй свой фокус: приставляла Лёначкино лицо к другой фотографии. То был портрет "Лёначки-Гришиного", сына папиного старшего брата. Он был сделан перед самой войной, за полгода до того, как Лёначка и его мать погибли в Бабьем Яру.

Оба мальчика были сфотографированы в возрасте семи лет, и головки их не только совпадали по размеру, но были абсолютно симметрично повернуты друг к другу. Казалось, что Лёначка-Гришин увидел себя в зеркале. Увидел – и испугался. Ибо то было зеркало дьявола: тот же вроде бы человек, те же глаза, губы – и совсем другое выражение.

Казалось, напуганный этим отражением, Лёначка-Гришин решительно сжимает свой крошечный ротик и смотрит исподлобья с суровым недоверием... Отказывается от такого продолжения, предпочитает собственную судьбу.

Рассказывали, что веселая широколицая Гришина жена, Лиза, не хотела называть сына в честь свекрови, которая умерла в двадцать пять лет случайной смертью. Лиза считала, что ее имя не принесет мальчику счастья. Несомненно, она говорила об этом и с тетей Фаиной. Что же заставило мою тетю повторить ошибку брата и дать ребенку то же несчастливое имя? Не так уж, кстати, и похожее на имя женщины, о которой только и помнили, как она скакала с детьми на кровати, выпустив из разреза панталон подол рубашки, – так что получался петушиный хвост, приводивший малышей в восхищение... Почему ее не остановило то, что это еще и имя семилетнего мальчика, расстрелянного и сброшенного в ров? Или моя тетя, слишком рано покинувшая семью ради строек социализма, не знала всех тонкостей этого древнего обычая? Или нашло на нее затмение – просто потому, что настала пора кончиться красивому папиному роду? А тетя самонадеянно решила, что сумела прыгнуть через поколение, через свою неприметную внешность и подарила моему папе, отцу двух кареглазых дочерей, племянника – наследника его красоты, его голубых глаз. Его коричневого пальто...

Где-то оно сейчас, поруганное? Сколько раз пропито? Не пошли впрок наши сентименты бедному моему брату. Лучше бы оставили это злополучное пальто зятю для гаража. Или хоть послушались бы умных людей – воротник сняли... Но все-таки, все-таки... Все-таки думаю, что и без пальто случилось бы то же. Он всегда старался куда-то убежать, будто ему известно было место, где едят варенье из банки, конфеты прямо с кульком, где можно

давить в кулаке абрикосы и пирожные, где нет ни парусов одиноких, ни абэквадратов, где вечно играет военный духовой оркестр: ты-ды-ды-ды-ды, ды-ды-ды... Всё марши, марши! Девушки, веселыми зубами откусывающие мороженое!

Эх! Быть бы моему брату красавцем и остроумцем, военным дирижером, нарядным, как елка! Женским любимцем! Кабы не...

Что? Стремительные роды? Ведь врачам в новорожденном сразу что-то не понравилось. И тетю против всякого здравого смысла всю жизнь точило чувство вины.

Скорей уж чувствовать себя виноватым мог бы дядя: это он, зачитавшись передовой статьей газеты "Правда", позволил любопытному младенцу выпасть из коляски. Тогда никто особенно не испугался: мало ли детей выпадало из колясок! А другой случай, связанный с Яшей, так и вовсе рассказывали как забавную историю со счастливым концом.

Яша любил своего братишку со страстью и нежным удивлением – так подросток может любить принадлежащего ему зверька. Он повсюду таскал Лёничку за собой, и однажды под ним, долговязым и тощим, проломилась доска на вышке, с которой местные спортсмены прыгали в воду. Яша, ко всеобщему восхищению, приземлился на ноги с крепко прижатым к груди ребенком. О сотрясении никто и не подумал... Это уж впоследствии, когда заполняли историю болезни, врачи просветили.

По их мнению, каждое из описанных происшествий могло сыграть роковую роль. Но приоритет, как и все домашние, они отдавали тому самому случаю, тому роковому дню, когда Лёничка, уже начинавший лепетать, поковылял за нянькой в сарай и заглянул в открытый погреб, куда преданная старуха полезла воровать творог для вечно голодного Яши. Она увидела, как в уголок солнечного света, достигающего в полдень сырого земляного пола, вписался темный кружок, будто отметивший место для приземления, и тут же на это самое место грохнулось головой детское тельце. Сначала нянька подумала, что дитя разбилось, но, поняв свою ошибку, стала горячо благодарить Бога. Припадала лбом к мешку картошки, просила, чтобы он, раз уж свершил чудо, свершил бы еще одно: скрыл глубокий след ее оплошности – косую вмятину на темечке ребенка.

Бог и тут пошел ей навстречу: вмятина до вечера разгладилась и, что уж совсем чудесно, не осталось даже маленького синяка. Правда, малыш надолго перестал разговаривать, но это заметили как-то не сразу: он и до того особой сообразительностью не удивлял. И только много позже, когда начали судить да рядить, ездить по врачам, старуха создалась тете, а тетя – постепенно, с подготовкой – дяде. Дяди в доме не то чтобы боялись... боялись его бурных реакций на самые незначительные неприятности. И больше всех – именно нянька. Старуху не так пугало то, что ее, ни на что уже не годную, выгонят из дома, где она прожила шестнадцать лет и надеялась спокойно умереть, как то, что дядя станет кричать, бить себя кулаками по широким вискам, рвать свои курчавые черные волосы... Это его невыносимое "вэ-эй!" вкупе с "сибирским" говором...

Ах, мой бедный дядя! За что судьба сочетала его доброту с такой скандальной вспыльчивостью, с колючими чертами, вечно готовыми исказиться в судороге гнева или сарказма? Дядя, с его сумасшедшими очками в круглой черненькой оправке, дядя, боготворящий мечтательный флегматизм своей начитанной жены и не доверяющий ей в ничтожных бытовых мелочах, сам заправляющий борщ и смолящий кур, личной ненавистью ненавидящий империалистов, колонизаторов и эксплуататоров, а еще больше – собственных учеников, тупиц, неспособных без двадцати ошибок написать диктант, который он диктовал по слогам: "На-до хо-ро-шо у-чить-ся", ввинчивая в их ленивые мозги каждую букву, а они не только не повышали свою успеваемость, но еще и передразнивали дядину несносную речь, его профессиональную инвалидность... он ведь иначе говорить уже не мог. Не "малако", а "мо-ло-ко", не "цыфра", а "ции-фра"... Слушая его пронзительный голос,

незаметно вытирая со щеки каплю слюны, предназначавшуюся вообще-то Эйзенхауэру, я думала: не в наследственности ли первопричина несчастья...

Впрочем, тут только начни, только сделай допущение... Да и кто из нас поклянется, что нормален на сто процентов? Во всяком случае, не я. Ну спрашивается, что мне стоило ответить моей бедной тете, вечно задававшей один и тот же литературно-философский вопрос: "Какое качество ты ценишь в человеке превыше всего?" – и ожидающей ответа: "Доброту", – что мне стоило именно так и ответить, вместо того, чтобы с жестокой твердостью отвечать каждый раз: "Ум." "Ум!" "Ум!!" Зачем мне, в общем-то незлой девочке, привязанной к тете и очень хорошо ее понимающей, было мучить ее и колоть ее своей правдой?

В свое оправдание могу сказать лишь то, что я в бедном брате моем не замечала и особой доброты. Никогда он не порывался поделиться с нами какой-нибудь ерундой – наоборот, сжимал крепко в мокром кулачке мандаринку, печенье, конфету, так что иногда оттуда начинало капать что-нибудь розовое или коричневое. И, поедая свое сокровище, он смотрел не на него, а на оставшееся в общей тарелке или отданное другим детям, сопровождал своими синими глазами каждый кусок в его челночном следовании туда и назад. О Господи! Вернуться бы в прошлое и отдать ему все яблоки и шоколадки, к которым мы были не так уж и жадны – а поэтому ели не торопясь и заставляли его, вмиг сжевавшего свою долю, сглатывать, мять губами, выжидающе хихикать... Он мог как бы невзначай подхватить что-нибудь, оставленное нами на столе, но, надо признать, ни разу ничего не отнял, даже у моей сестрички – младшего ребенка в родне. Он был безобиден, и это моя тетя принимала за доброту.

А красота? Что принимала она за красоту, когда от красоты уже и следа не оставалось? Когда разросшиеся красные губы выпятились вперед и вверх и, как моллюск, живущий собственной жизнью, все шевелились, то предвкушая, то дожевывая что-то... Когда неопрятная юношеская щетина облепила клочками подбородок и щеки... Когда после смерти няньки стала вдруг быстро углубляться похожая на овраг впадина, до того никак не проявлявшаяся, по-видимому, только молитвами бедной старухи... Уже волнистые волосы брата стали сесть и редеть, и зад его не уместался ни в одном кресле – а тетя устремляла на него свой голубой очарованный взгляд и повторяла с жаром: "Такой красивый мальчик!" И еще – с вдохновением, прищутив в даль мечтательную бровь: "Посмотри, как он похож на твоего папу! Одно лицо!"

Господи! А как восхитилась бы она, доведись ей увидеть Лёначку в коричневом пальто... С золотистым каракулем вокруг по-бычьему накренной шеи...

Но все-таки, все-таки в чем-то она была права. Было что-то общее между ней, папой и бедным, дважды неудачно названным Лёначкой – что-то, касающееся только их троих. Не оттого ли я злилась в детстве на тетю? Читала "Бесов", высоко поднимая подбородок как бы назло ей. "Мчатся тучи! Вьются тучи!!" (Хоть я и не мальчик! Хоть у меня и не синие глаза!) "Невидимкою луна освещает снег летучий!"

Вообще-то я не любила эти семейные концерты, где Яша пел сатирические пародии на песни советских композиторов и рассказывал анекдоты про "Перчика"; где моя годовалая сестренка показывала, как "делают" кошечка, курочка и собачка; где моя мама "играла" на расческе. Бедному Лёначке тоже очень хотелось выступать. Он всё норовил выскочить на середину комнаты, но дядя ловил его за локоть и весело повторял истеричным фальцетом: "Сиди тихо! Не позорь меня! Когда ты открываешь рот, оттуда летят козы какашки!" Но Лёначка все-таки вырывался, принимал артистическую позу... И тут происходило нечто странное: все ждали чуда. И я ждала! Каждый раз была уверена, что вот сейчас-то он откроет рот и расскажет стихотворение почище "Бесов". Но... На "Бесов" моих он не

посягал. Перевернул каких-нибудь два предложения из Яшиного анекдота. "Товарищ учитель! Целуйте меня в затылок!" И, радостный, убежал. А то еще однажды стал рассказывать: "Петушок делает кукареку! Курочка делает ко-ко-ко!" Договорить ему дядя не дал.

Ну? Так не сумасшествием ли было орать за это на ребенка, обзывать его дураком – и при том надеяться, что терпение и упорство позволят Лёнечке... получить высшее образование?! Не глупо ли было год не разговаривать с моей мамой, давшей, как всеми было признано позднее, дельный совет? "Я – директор школы! – вздувал на висках жилы дядя. – А ты предлагаешь мне отдать сына в сапожники?! Своих детей ты тоже собираешься в сапожники отдать?!"

Впоследствии утешались тем, что и это ремесло он вряд ли бы осилил. Бедный мой брат, сын директора! пойманный олень! Всё-то его неволили! То он дома дрожал над учебником химии, ссутулясь под грозным взглядом отца, то трясся в школе, чуя надвигающийся вызов к доске... и в мозгу его судорожно трепыхалось что-то, белело в голубом тумане: то ли парус одинокий, то ли Пифагоровы штаны... И в конце концов он бросался своему ужасу навстречу с поднятой рукой. Да еще во время директорской проверки... При бедном моем дяде, с его вечной сумасшедшей надеждой, что вот сейчас наконец-то Лёнечка скажет нечто разумное! И Лёнечка говорил: "Земля едет на верблюде!" И садился, довольный разразившимся смехом, считал себя шутником, любимцем общества – таким же, как брат Яша. Он и в больнице всё подражал брату: подмигивал девушкам, путал что-то про Рабиновича и Пушкина, радовался, что веселит людей. Вечно побитый, поскольку целыми днями пел военные марши, очень громко и в нечеловечески четком ритме, воспроизводя звуки и призвуки оркестра: "Та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам, дам! дам!.." И бил руками по столу, по тумбочке, по подоконнику, как по клавишам пианино.

Бедный мой брат – непризнанный полковник, дирижер и беременный жених Терешковой! Отдающий честь каждому военному, предлагающий руку и сердце каждой красивой девушке! Всё-то он норовил куда-то убежать: то от Кати с ее "Улукоморьем" и белыми губами; то от дурака-физика, упавшего, видимо, не в погреб – в кратер головой и назначившего Лёнечке переэкзаменовку на осень; то из больницы, где у него отнимали надкушенный прямо с фольгой сырок и доказывали, что он не грузин! не дирижер! и не беременный от Терешковой, а просто обожрался; из картонажного цеха, где пригородные дуры-девчонки унижали его мужское достоинство, высказывая предположение, что он – "не годится", раз до сих пор не женат. Доводя до того, что бедный мой полковник начинал расстегивать свои пифагоровы пуговицы... Они поднимали визг стыдливого возмущения и вызывали начальство.

Убегал, убегал, убегал! Убегал от придурковатой невесты с ее радушными родителями, белым и плоским, как живот, лицом и четырьмя моргающими пупками вместо глаз, рта и носа. Галантно объявил, что хочет в уборную – и оттуда дал стрекача! Бежал, по-оленьи подавшись вперед и бодливо склонив смеющуюся голову, бежал куда-то в счастливые, нам недоступные дали, в неведомое место, где можно из зала дирижировать оркестром, угощать девушек бесплатным мороженым, где вместо одного солнца светят три... Прочь, прочь из собственного дома, от пьяницы-квартиранта и его беременной соплячки-жены, полагавших своей обязанностью нагло портить и красть Лёнечкины вещи, проедать его пенсию, его самого выгонять на холодную кухню, обзывать жидом и идиотом... Они искренне не понимали, почему сердится Катя и за что их выгоняет этот город, впервые вступившийся за своего дурачка! Прочь и от него, от города – в Небесный Дом офицеров, по снегу, раздвигая сугробы жирным телом в длинном и тяжелом, почти совсем новом коричневом пальто. Прочь от Фриды, совсем ополоумевшей после смерти мужа, с ее шляпками, с ее личиком,

разукрашенным будто детской рукой, от Фриды, с материнской гордостью сообщавшей Кате о том, что Лёничка поправился и старая одежда на него больше не годится, а денег на еду не хватает, так что Катя в конце концов была вынуждена взять доллары, переданные опальным Яшей из Израиля, ибо то самое знаменитое наследство, целиком оставленное для Лёнички, инфляция сломила враз и походя, как сам он мог съесть пачку вафель. И на эти деньги бедная Фрида, вечно боящаяся, что ей нечем будет принять гостей, с утра до вечера варила каши и супы, и огромные куски мяса разваривала до того, что их нельзя было отличить от свалившейся в кастрюлю тряпки, и нарубленную капусту по рассеянности бросала в казан с позавчерашним скисшим супом, а крупу засыпала в бак, где вываривала полотенце... И всем этим она душила, заливала моего бедного брата, грозила, что если он не будет есть, она умрет или уедет к дочке в Коростышев, а его отдадут в больницу навсегда! И он ел, ел, ел, пока не переставал замечать девушек, пока не пропадала охота петь и выбивать ритм по Фридиному столу, заставленному посудой и бутылками, пока от сытого вздоха не осыпались с рубахи пуговицы, пока не лопались городу на потеху брюки на чудовищном заду.

Этот зад всем приходил на память, когда Фрида, в очередной раз возвращаясь из милиции, плакала, пачкая варежки мокрой пудрой вперемешку с румянами, и толковала встречным про бандитов, промышляющих человеческим мясом. Каждый взвешивал мысленно неохватные ляжки и живот моего бедного брата, и постепенно это превращалось в настоящее наваждение, в городской кошмар. Особенно густел он на базаре у мясного ряда, где крестьяне, ни о чем таком не слыхавшие, дивились на опасно-брезгливые гримасы покупателей, которые вдруг стали придираются то к размеру, то к цвету куска, брошенного на весы, допытываться, почему тушу не привезли целиком, и сало им казалось то слишком мягким, то слишком твердым, а шкурка – и вовсе подозрительной.

И как бы наперекор этому тайному страху поползли по городу слухи. Будто видел кто-то Лёничку в рабочем поселке и отбил его, окровавленного, у расходившейся толпы. Будто часто мелькает он в своем коричневом пальто на той окраине города, где строятся химзаводские. Будто некий старичок, персональный пенсионер, прячет его в своем особнячке отчасти из практических целей – наколоть дрова, принести из колодца воду, – отчасти же из жалости и человеколюбия, и ходит он аккуратный и ухоженный, как никогда.

Эти толки, наряду с надеждой, вызывали у Фриды Аркадьевны такую болезненную ревность, что она тут же бежала в милицию заявлять на преступного старика. Вызывала из Москвы Катю и таскалась за нею по химзаводской слободе, цепляясь ко всем старикам, резко переходя от враждебности к полному доверию, совала им безмерно льстивый Лёничкин портрет двадцатилетней давности, годный лишь на то, чтобы ввести людей в заблуждение. Покоробленный от Фридиных слез и розовый от ее поцелуев. К тому же она неизменно повторяла, что в жизни он гораздо лучше, ибо страдала тем же помрачением (или просветлением) рассудка, что и моя тетя: видела в нем красавца.

Катя обращалась к детям, вечной добычей которых до седых волос оставался бедный Лёничка. Те пожимали плечами. В милиции, стекленея взглядом от подавляемого раздражения, повторяли Кате, что дело еще не закрыто, показывали сводки ограблений и убийств "нормальных, стоящих" людей, предлагали привести хоть одного свидетеля, который бы видел Лёничку своими глазами. Катя искала, пока не кончался с трудом и унижением взятый за свой счет отпуск. Несчастная Фрида, смертельно боящаяся одиночества, особенно ночного, стала изредка вспоминать о своих собственных детях, о каких-то их обидах и требованиях куда-то переехать...

Милиция и не думала разыскивать Лёничку. Преступность росла, как дрянной гриб на сгнившем здании. Ни денег, ни людей, ни технических средств не хватало – и в таких условиях разыскивать какого-то идиота! Сам найдется. Или труп его проявится из-под снега

весной. Разве это не лучше и для него, и для его очкастой сестры, и для ее кацапа-академика, и для государства в целом? Что же им, перелопатить весь снег в области – в то время как здесь, в городе, девчата боятся пойти вечером в клуб?

Они не догадывались, в каком ужасе содрогался город, за неведомые грехи приговоренный всю зиму жевать котлеты, хлебать суп из моего бедного брата. И, как индальгенции, ждать весны, когда покажется над сползающим снегом коричневый рукав пальто, сшитого лучшим в Киеве портным. И все убедятся, что не виновны в каннибализме, что не ели мясо оленя – сына сердитого директора, который сам смолил кур и диктовал свой бесконечный диктант, подсказывая каждую букву, вбивая ее, как сапожный гвоздь. Сына доброго моего дяди, измотанного войной, нищетой, школой, тяжелым международным положением, Яшиными ногами, злокачественно вырастающими из брюк, а главное – туманным будущим городского полковника и дирижера. Ненаглядного сыночка преподавательницы русской словесности с ее вечным припевом "Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, темно-голубые..." С ее мечтательно-голубыми глазами, будто иллюстрирующими эти стихи.

Но избавление пришло раньше. В феврале Женя Буряк, Катина подруга детства, с которой Яша целовался в девятом классе, встретила Лёничку в здолбуновской электричке, где он очень успешно, с большим знанием дела просил милостыню. Женя уговаривала Лёничку ехать с нею, стыдила, старалась вызвать сочувствие к Кате и исплакавшейся Фриде Аркадьевне. Последнее его задело, и он твердо пообещал вернуться, как только соберет деньги на костюм и золотой перстень. За этими словами чувствовалась чья-то подсказка, чье-то тонкое понимание Лёничкиной сути, и Женя побоялась тащить его силой, полагая, что этот "некто" находится поблизости. К тому же брат мой, по словам ее, был невероятно грязен, запущен, как Робинзон, и несомненно вшив.

Женю с триумфом представили милиции, но и наличие объективного свидетеля не вызвало там ожидаемого энтузиазма. Даже как бы укорили предыдущим разнобоем версий. Хотя кто и в чем здесь был виноват? И откуда могли знать Катя и безутешная Фрида Аркадьевна, что те версии были ложными? Да и были ли? Чем они противоречили друг другу? Разве не мог мой бедный брат оказаться в рабочем поселке по поручению старичка-пенсионера? И не сам ли старичок научил его просить милостыню по электричкам... Причем запущенный, убогий вид моего брата мог быть обдуманым и вдохновенным созданием старичка. Может, он, как опытный модельер, окидывал Лёничку прицельным глазом – и надрывал рукав на его плече... кряхтя, откручивал пуговицу, крепко пришитую к коричневому несносимому сукну... А впрочем, нет. Пальто на Лёничке как раз и не было. Возможно, лежало оно, пересыпанное нафталином, в сундуке у хозяйственного персонального старичка, которому удачливый мой брат собирал по электричкам на "Жигуля", пока не надумал, что пора ему справить себе костюм и купить золотой перстень.

А может, и не было никакого сундука. Может, и до сих пор пылится оно в прихожей на гвоздике, пальто моего папы, то, с которого я гордо смахивала заблудившиеся снежинки. Висит, дожидаясь безразличного к нему Лёнички... А беспомощный старик, так же, как и Фрида, боится спать один в пустом доме и, как Фрида с портретом, разговаривает с коричневым пальто.

Бедный мой брат, вечный беглец, втянутый за руки в едущий поезд солдатиками-новобранцами. Они спасли его, жалобно визжащего бородатого младенца, от разъяренной стаи собратьев-нищих. Утаил он от них часть своего дневного заработка? Влез на чужую

территорию? Или они просто не хотели отпускать на волю звезду своей бродячей труппы? А может, это были вовсе не нищие, а базарные торговцы, у которых он и прежде имел обыкновение пробовать до отвала клубнику, семечки, творог, стоило лишь отвернуться моему бдительному дяде, моей рассеянной тете, моей строгой сестре Кате, моему веселому брату Яше, восхищавшемуся Лёнечкиной предприимчивостью и солидным видом, с которым он ходил от хозяйки к хозяйке, вдумчиво жевал и неодобрительно крутил носом... Легкомысленный, не понимал он, что дядя прав, что Лёнечку за такие выходки когда-нибудь убьют. И убили бы, если бы не мальчишки-солдаты, захваченные внезапной жалостью к несчастному дурачку, который мог бы быть отцом одному из них, если бы не скоротечные роды, нянькина оплошность, неудачное имя, коляска, сгнившая доска.

Бедные дети, сиротские лысые головушки! Вырванные с хрупкими корешками из родного дома, они впервые ступили на путь доброты, защищая бездомного калеку. Соревновались в великодушии, спасаясь от собственного страха. Они укутали Лёнечку в одеяла, напоили горячим чаем и совали наперебой захваченные в дорогу пирожки, а он их глотал, глотал, глотал, раскусывая надвое и не ощущая запаха и неповторимого привкуса чужого жилья, чужого уюта... Жалобно скулил и отвечал на вопросы что-то невнятное...

Славные дети! Они и утром не оставили его на произвол судьбы. Прибыв к месту назначения, обратились в милицию, а оттуда сами же и отвезли... А куда же еще?! Туда. В надежное место, которым пугала его бедная Фрида, когда он отказывался есть ее вареное полотенце, куда давно хотел сдать его разумный и добрый человек – Катин муж, ибо справедливо полагал, что такие заведения для того и созданы, чтобы сделать жизнь подобных людей сносной и не оскорбительной для них самих и их ближних. Эх, не видел выдающийся физик этих заведений! И солдатики не видели... Они почувствовали большое облегчение и радость от исполненного долга, когда сдали своего найденыша с рук на руки симпатичной пожилой женщине, не заинтересовавшейся, правда, ни героическим прошлым их полковника, ни его музыкальной карьерой. Она и более важных вещей уточнять не стала.

Тем бы все и закончилось, не начнись в больнице ремонт. И тогда только, в конце июля, когда стали прикидывать, кого бы из пациентов выписать домой, попробовали узнать у заторможенного моего дирижера, из какого он города. "Дедуктивный метод" сработал: Лёнечка знал, из какого он города. Они тут же связались с главврачом славутинской психбольницы, у которого моя тетья была классной руководительницей. Тот вызвался сообщить Лёнечкиным родственникам и милиции полученные сведения.

К тому времени милиция дело еще не закрыла, но отчаявшаяся Фрида уже согласилась ехать со своими плохими детьми в Израиль. Более того – уже продан был ее дом. Фридины дети, уставшие от полугода уговоров и скандалов, предпочли бы скрыть от старухи радостную весть, но это было невозможно. Фрида, никогда не умевшая трезво оценивать свой возраст и свято уверенная в омолаживающем воздействии на организм пудры и помады, намазалась сверх своей обычной меры, хозяйственно подоткнула ногой горы грязного тряпья по углам, сварила три кастрюли гречневой каши. Готовилась начать новую жизнь в своем проданном доме... Не был в восторге и директор Кати, сытый ее отпусками "за свой счет". Многодетная же Галина Кондратьевна, соседка Лёнечки – так просто была разочарована. Ей исполком пообещал присоединить Лёнечкину половину дома, как только "вопрос решится". И вот оно чем кончилось! К тому же за пятнадцать лет, прожитых Лёнечкой у Фриды Аркадьевны, Галина привыкла к чисто символическому наличию соседа и безвозмездно пользовалась его огородом и садом. Конечно, ее можно было понять. Ее и понимали. И втайне злорадствовали. Нарочно заводили Галину, и она расходилась, кричала, что не пустит Лёнечку во двор, потому что он для детей опасен. И уж во всяком случае в уборную, поскольку Катя не давала на переоборудование ни копейки... и никаких

квартирантов Галина не потерпит – пусть обходятся, как знают... для таких, как Лёничка, строят интернаты, и Катя сама была бы рада, если б он не нашелся, потому как ей "больше всех надоело и только стыдно людей!"

Ну... Надоело – не надоело, а скажем так: Катя действительно устала. Но дело было не в "людях", а в преобладающем над всеми ее чувствами чувстве долга. Это оно поднимало Катю по первому же звонку Фриды Аркадьевны, заставляло ее выбрасывать на ветер деньги, тащить с двумя пересадками верблюжью кладь, ночевать в промозглом, мертвом доме, куда и мыши боялись войти, чтобы сгрызть оставленную месяц назад на столе четвертушку хлеба.

Нет, разумеется, она не желала смерти своему маленькому брату-олену, у которого вечно был какой-то беспорядок с трусами, вечно они скручивались у него то вниз, то набок, выставляя что-то лишнее... своему брату-полковнику, которого дядя стыдился, и любил, и обзывал то "Голопупенко", то "Голопопенко", и замахивался на него недощипанной курицей... Что же тогда? Может быть, за эти полгода поисков Катя пришла к мысли, что беглому Лёничке без них без всех живется гораздо вольнее и счастливее, чем прежде? Катя вспоминала, как убивались родители, уверенные в том, что Лёничка пропадет, лишь только их не станет. И дядя один за другим глотал шарики нитроглицерина, а тетя, вызывая тошноту у окружающих, ела, ела, ела апельсины, веря, как Фрида в косметику, в их чудодейственную способность продлить, поддержать угасающую жизнь... Всё ради Лёнички. И что же? Разве Лёничке в мохнатой берлоге Фриды Аркадьевны не было лучше, чем в родительском доме? Никто его не ругал за грязные брюки, не запрещал до отвала есть, не таскал каждую неделю в баню, не исправлял его речь, не сердился из-за нечищенных зубов или развязанных шнурков, не... И не смеялся над ним, никогда не смеялся!

Лучше, лучше было ему у Фриды Аркадьевны! И порой Кате думалось, что там, куда он сбежал в коричневом пальто и с буханкой хлеба на дне кошелки, ему еще лучше, даром что нам этого не понять.

Может, так оно и было. Может, солдатики тогда ошиблись, и никто не собирался его убивать. Может, те, догонявшие его на полустанке, так же хотели ему добра, как Катя – когда-то, смеясь и плача... за оленем... Бежали, пытаясь спасти Лёничку от доброты наивных солдатиков, которые, увы, как и милиция, как и врачи, очерстневшие от чужого горя, не догадались сразу спросить у бедного мужа Терешковой, в каком же он городе-то жил до женитьбы... Не дожидаясь капитального ремонта. Да он бы им не только город – точный бы свой адрес назвал, и адрес Фриды Аркадьевны, и Катин... Да что там адрес! И теорему Пифагора! и сумму квадратов!! и... разное еще, что я забывала, едва услышав дребезжание последнего звонка. Всё то, чем бедная моя тетя тешила свое материнское честолюбие, спрашивая по очереди меня и бедного Лёничку, когда я приезжала в этот город, единственный на свете город, где бывают молодые зеленые шишки, где подсолнухи на огородах изо всех сил помогают светить солнцу, где из каждого початка кукурузы торчит оставленный на память клочок желтоватой седины старой няньки, которая молится за всех нас, и особенно – за солдатиков, протянувших из тамбура детские руки недосмотренному ею младенцу. Молится своей "Матке-боске", а дядя – Карлу Марксу, а тетя – архангелу Михаилу Лермонтову: пусть все эти солдатики, живые и невредимые, вернуться к своим матерям!

Рувим, племянник Фриды Аркадьевны, посланный забрать Лёничку из пятихатского интерната, не додумался уточнить имена и адреса этих ребят, хотя и то, и другое наверняка было зафиксировано в каких-то документах. Он вообще был похож на свою тетку некоторыми странностями: единственным, о чем он навел подробные справки, было коричневое пальто. Хотя мог бы поинтересоваться и гораздо более существенными вещами:

куда, например, делись Лёнечкины зубы и пальцы. Но поскольку на этот счет не было никаких указаний тетки, он сосредоточился на пальто – можно даже сказать, учинил скандал. Его уверяли, что в момент госпитализации пальто на Лёнечке не было.

Одежда, переданная Фридой, оказалась на Лёнечку невозможно велика. Его хрупкий скелетик кое-как задрапировали огромной рубашкой, квадратные штаны наподобие мешка обвязали веревкой вокруг хребта. Так он въехал в город, мой брат-полковник, съеденный за зиму рождественский боров, с глубоким оврагом в остриженной голове... Шел по улицам – будто принимал парад возвратившийся из плена вождь, отдавал честь однопалой рукой, похожей на сломанную расческу, и удивлялся и тревожился, почему никто не смеется. Даже девушки, которым он мимоходом предлагал эту самую свою руку и сердце, лишь чуть отстранялись. Они неловко переминались с ноги на ногу, пока он, внушительно и честно глядя им в глаза, обещал, обещал, обещал: "Я женюсь!" А два солдатика, попавшиеся навстречу, растерянно ему откозыряли.

Одна лишь Фрида Аркадьевна встретила Лёнечку как ни в чем не бывало. Если и всплакнула слегка – так только от радости. То ли ей в самом деле представления заменяли реальность, то ли она так твердо верила в свою способность довести полковника до прежней красоты... Она тут же поставила на стол три кастрюли гречневой каши, хотя Рувим сразу уточнил, что Лёнечка не голодный, что за недолгий путь от Пятихаток он съел полтора кирпича хлеба и почти килограмм колбасы, купленные в привокзальном буфете для них обоих. На деньги Рувима. Тем не менее Лёнечка набросился на Фридину кашу с жадностью. Растирал по нёбу языком крупные комья и трудно заглатывал. Рувим и себе набрал тарелку, предварительно попытавшись выяснить, в какой из кастрюль каша свежее. Она везде показалась ему чуть подкисшей, но за неимением выбора он поел, давась под укоризненным взглядом бедного моего брата.

Рувим, все же менее бестолковый, чем старая его тетка, предположил, что Лёнечке может быть вредна такая резкая перемена в режиме питания, но Фрида ответила, что он ничего не понимает.

После третьей тарелки каши Лёнечка широким жестом отодвинул посуду с края стола и окинул его ласкающим взглядом. Так виртуоз, возвратившись из дальних странствий, оглядывает любимый инструмент. Он осторожно приподнял свои испорченные руки и легонько опустил их на стол, как бы пробуя клавиши. Но стол Фриды Аркадьевны, заставленный тарелками и кастрюлями, и бидонами, и бутылками, и жестянками от прошлогодних консервов, отозвался могучим, прямо-таки симфоническим звучанием.

"Туду-ду-ду
Дум! дум! дум! дум!" -

вступил Лёнечка...

Катя, приехавшая двухчасовым поездом, застала этот концерт в самом разгаре. Остановить полет Лёнечкиного вдохновения не удалось даже Фриде Аркадьевне с ее проверенным средством – четвертой тарелкой каши. Катя, изо всех сил стараясь не срывать свое отчаяние на Фриде Аркадьевне, попыталась объяснить ей, что в данной ситуации перекармливать Лёнечку может быть опасно. Но Фрида Аркадьевна сурово отчитала Катю. "У твоих родителей он по два раза в году попадал в больницу, а у меня – за пятнадцать лет ни разу!" Она совсем забыла об Израиле, снова чувствовала себя необходимой и привычно злоупотребляла этим: толковала о выросших ценах, о зимних сапогах, которые перестали

налезать на ее ноги. Спрашивала Лёнечку, с кем он теперь хочет жить. "С тобой, с тобой, Фрида! Буду жить с тобой! Ты – моя мать, Фрида!" – заводился он минут на пять, как дятел. И бедная Фрида Аркадьевна блаженно праздновала свою победу. Не столько над Катей, сколько над легендарным старичком-пенсионером.

Катя все понимала, Катя была благодарна старухе, но выдерживать ее больше не могла.

Она увела Лёнечку в истлевший родительский дом – якобы для того, чтобы прекратить происки многодетной Галины Кондратьевны. Довод был неопровержимый. Фрида отпустила их с условием, что на ужин они вернутся к ней, и тут же грохнула на плитку черную снаружи и изнутри кастрюлю. Перед уходом Катя, к ревнивому удивлению Фриды Аркадьевны, взяла клюку покойного Мирона Сергеича и, задыхаясь от брезгливости, стала ворошить горы слежавшегося тряпья по углам комнаты и кухни. Это была удачная мысль: в самой глубине, как и предполагала Катя, оказались старые Лёнечкины вещи более приемлемых для него в настоящее время размеров. Увязанный узелок потащил за Катей Рувим. Идти было недалеко, но бедный мой брат-олень часто останавливался, тяжело дышал. Катя с Рувимом тоже останавливались, продолжали свой бесплодный разговор о квартирантах, опекунах, о Фриде Аркадьевне, которой все равно уже не справиться с Лёнечкой, о Яше, который уехал себе и свалил на сестру непосильный груз... Несколько раз, проверяя, отдышался ли брат, Катя замечала его руку, вытянутую вперед разбитой лодочкой и воровато ускользящую за спину под ее взглядом. Причем улыбка Лёнечки, запавшая и отползшая под нос, пугала Катю своим нагло-радостным выражением. Рувим подтвердил опасения Кати: да, полковник просит; сын парторга, исключенного из своей безжалостной партии за блудного сиониста Яшу, сын директора лучшей из трех городских школ протягивает руку за милостыней, стоит лишь на секунду от него отвернуться – причем дают ему охотно и много, так что всегда найдется мерзавец, желающий нажиться на несчастном калеке. И честный Рувим вытащил из заднего кармана пятитысячную бумажку, о которой совсем забыл.

Эта новая проблема оглушила Катю, но не парализовала ее обычную активность. Она тут же занялась проветриванием, стиркой, сооружением брюк особого устройства, ибо бедный мой красавец-брат больше не мог пользоваться пуговицами или молнией. И пока Катя пришивала к его широким брюкам детские бретельки, ей пришлось раз шесть сопровождать в уборную, как бы назло кипящей от негодования Галине, бедного экс-чемпиона города по рисованию лежащих восьмерок на задней стене сарая... Теперь под этой самой стеной стоял мотоцикл зятя Галины, и она не собиралась искать для него новое место. Она бы с удовольствием поскандалила, но здравый смысл взял верх, и Галина предложила Кате деньги. Доводы ее были достаточно разумны; она уверяла, что таких дураков, как Фрида Аркадьевна и Мирон Сергеич, Кате больше не найти, что никакие квартиранты Лёнечку не выдержат, да и она, Галина, со своей стороны, не пропустит никого чужого через калитку. А за ее деньги можно будет дать взятку и пристроить Лёнечку в какой-нибудь подмосковный интернат, у Кати под боком. "И за вещи что-то получишь, – налегала соседка, чувствуя нарождающуюся в Кате слабинку. – Я б сама купила у тебя зеленый ковер..."

И тут Лёнечка, будто бы безучастный к разговору, вскочил с лавки, на которой перед этим ненастойчиво отбивал ритм "Прощания славянки", вскочил и, размахивая своими однопальными руками, заорал с офицерским гонором, что не допустит. "Здесь все мое! – надрывался он. – Опозорю! Я – хозяин! Я вас выведу на чистую воду перед общественностью!" Рычал, оглушая всех ватным баритоном и бог знает где подобранными словами. Видно, был, был все же старичок-пенсионер, персональный клязник! "Опозорю"! И Катя никак не могла его успокоить, пока не пригрозила больницей и не сделала вид, что идет вызывать "скорую помощь". Она и вызвала скорую – только попозже, ночью, после

глупейшего похода к Фриде Аркадьевне, которая весь творог, купленный Катей на ужин, свалила в тарелку Лёнечки, насыпала сверху сугроб сахара...

Николай Николаич, дежурный хирург, некогда подготовленный моим дядей к переэкзаменовке по русскому языку, сообщил Кате, что Лёнечка эту ночь не переживет, хотя операция и прошла успешно. Ибо дело здесь не в устраненном завороте кишок, а в полнейшем истощении всего организма. Вера Савельевна, мать Катиной подруги Нэли, в сорок пятом распределявшая по госпиталям узников Освенцима, уверяла, что подобное видела только тогда, и советовала Кате подать в суд на пятихатский интернат. Николай Николаевич утверждал, что это пустая трата времени, что медицина находится в ужасном состоянии: ни денег на еду, ни лекарств, ни белья. И бесполезно говорить теперь о психиатрии, где и в хорошие времена было неблагополучно, где и прежде не реагировали на то, что больные избивают слабых и отнимают у них еду. Кстати, о еде: неплохо было бы на всякий случай принести для Лёнечки кислое питье.

Добросердечная Вера Савельевна взяла это на себя. А Катя всю ночь проплакала в больнице.

Клюквенный морс Веры Савельевны пригодился. В полдень появилась откуда-то еще бутылка. К вечеру их было уже несколько, так что Катя стала раздавать излишки больным из соседних палат.

На следующий день, после того как Лёнечка открыл глаза и спросил у Веры Савельевны, пойдет ли за него замуж русская девушка, Катя поспешила домой варить бульон. Газа в старом баллоне давно уже не было. Идти к Фриде не давала брезгливость, да и видеть ее почему-то не хотелось. Проситься к соседке не позволяла принципиальность. Катя знала, что Галина сама предложит ей свои услуги, и искала, в какой бы форме от них отказаться. Решилось же все замечательно просто: у калитки Катю ждала Маня, мать "юных медиков" Додьки и Оськи. Мучаясь от страха перед Катиной гордостью, она вертела в руках красный термос. "Я слыхала, ему уже можно бульон. Вот. Я только что сварила, свежайший". В больнице Катя застала четыре термоса и три литровые банки бульона. В каждой из них плавала, как в аквариуме, куриная нога. Вера Савельевна не решалась распорядиться передачами без Кати. Она знала только, что один из термосов и лимоны принесли из синагоги, а банку с четвертью курицы притащила старуха из польской общины, где вспомнили, как крикливый мой дядя и мечтательная тетя почти год кормили с ложечки гниющую заживо няньку, недосмотревшую их дитя.

Кате так и не пришлось заниматься едой. Эти заботы полностью взяли на себя польские и еврейские старухи. Все в городе знали об этом, но люди несли, несли, и палата Лёнечки была забита термосами, кастрюльками, банками с компотами и супами, котлетами и вареньем.

Николай Николаевич разрешил давать Лёнечке всё подряд. Несколько раз он пробовал отключить капельницу – и Лёнечка тут же слабел, переставал отвечать на вопросы. Капельницу подключали – и он снова становился полковником и грузином, ухаживал за медсестричками и ел: бульон с фрикадельками, бисквитный торт, рыбную котлету, вареники с творогом, черничный кисель, тушеную картошку с грибами. Слизывал красную икру с бутерброда и крем-безе с песочного пирожного. Сжимал в кулаке экзотическое городское лакомство: куриную голову со всеми регалиями на длинной шее, начиненной мукой, печенкой и луком. Разглядывал в упор куриное лицо, задумчиво, как Гамлет: решал, откуда начать... И с благожелательным сожалением следил за тем, как Катя делит, отрезает, выносит чужим людям его кур, его яблоки, его пироги, его сушеную воблу, его грильяж в шоколаде, его соленые помидоры, его маринованные помидоры, его помидоры в собственном соку. Возлежал, высоко приподнятый на подушках, с капельницей над головой,

с зеленым судном под тощими ягодицами. И каждые полчаса Катя вытаскивала из-под него это судно, выносила в туалет и сливала. Струйка воды в унитазе заворачивала космическими спиралями черничный кисель с ягодами, виноград, маринованные грибы, оранжевые икринки... Катя тщательно мыла судно хлоркой и возвращалась в палату. Этим и были заняты ее дни.

Когда Лёнечка спал, она составляла письмо, которое собиралась направить в министерство внутренних дел, в министерство здравоохранения и в Красный Крест. Катя требовала создать службу, куда должны поступать данные обо всех "доставленных в необычном порядке" душевнобольных. Иногда она выходила на крыльцо подышать осенним воздухом. Смотрела, как идут по дорожке люди с пакетами и мешочками, несут, несут... Так в старом детском фильме лилипуты несли еду Гулливеру. Почти ни с кем из этих людей Катя не была знакома и не здоровалась, хотя знала, что идут они к Лёнечке, который, несмотря на капельницу, съезживается и желтеет... и давно уже ничего не ест...

А потом город отнес его на старое кладбище, вырастающее над собственным забором, издали похожее на пеструю свалку камней, венков и крестов. Положили Лёнечку между отцом и матерью, вернули им бедное их дитя под гранитную плиту, криво устремленную в небо, как указующий палец бедного моего дяди...

А папино пальто снова превратилось в сукно, под закатным солнцем раскинулось от горизонта до горизонта, и скоро на нём взойдет озимь.

1995-1996 гг.